
Л.Я. Шнейберг, И.В. Кондаков

В «распределителе смерти»

Читатели 20-х и 30-х годов ждали от изображения революции, гражданской войны, Красной Армии — «агитационного подхода», который, по верному и пронзительному суждению критика А. Воронского, в принципе не мог дать ни глубины, ни художественности, заменяя художественное исследование прямолинейными и плоскими политическими оценками. Говорить о Первой Конной как о целом означало дешую риторичность, крикливую лозунговость, «митинговость» (выражение того же Воронского), плакатность; предполагало создание публицистического, а не художественного произведения. Бабель анализировал, анатомировал человека, участвовавшего в революции, жившего войной. А критики рапповского толка хотели видеть «массы», «бои», «героизм», «подлинных коммунистов», «работу, которую вела большевистская партия и ее командиры». Персонажи и сюжеты «Конармии» явно не укладывались в стереотипы гражданской войны, уже сложившиеся к тому времени. Бабелевские конармейцы напоминали не столько «железную когорту революции», сколько бесшабашную блоковскую «голытьбу», что — «без имени святого», которая «ко всему готова» и которой «ничего не жаль». Стражи порядка в литературе увидели в «Конармии» намеренную дегероизацию истории гражданской войны, революции и делали выводы о «политической вредности рассказов Бабеля».

В статье о Бабеле для Большой Советской Энциклопедии (1-е изд.), в частности, говорилось:

«Эстет <...> склонный к абстрактному интеллигентскому гуманизму и романтизму, влачащий через всю жизнь и творчество мучительное ощущение своей интеллигентской слабости... Классовая действительность разбивает романтические настроения; отсюда — недоумение Бабеля перед пролетарской революцией и скептицизм. Основной смысл революции и ее движущие силы ему неясны».

На самом деле все было скорее наоборот: именно Бабеля — эстету, интеллигенту, гуманисту — и удалось понять основной смысл революции и ее движущие силы, раскрыть причины «крушения гуманизма» в революции и ее неизбежно бесчеловечный характер.

Бабель постоянно поучал самого себя на примере Фурманова и Островского, книги которых «с огромным увлечением читаются миллионами людей... Они формируют душу. Огненное содержание побеждает несовершенство формы». Он заклинает себя овладеть «стилем большевистской эпохи», «работать, как Сталин над словом»... И прекрасно понимал, что ни этим стилем, ни этим словом он овладеть не сможет никогда...

И Бабель замолчал. Почти целое десятилетие у Бабеля не появляется в печати ни строчки нового. Писатель зарабатывает на жизнь, в основном сотрудничая с кинематографом. Но это молчание выдающегося писателя с каждым годом становится все опаснее. Ведь многие знают, что Бабель все время что-то пишет; иногда читает вслух друзьям, иногда дает прочесть... И все, даже самые расположенные к нему редакторы, критики, писатели, говорят, что этого печатать нельзя. Одни добавляют: «Пока нельзя». Другие не скрывают того, что этого вообще никогда нельзя будет напечатать. Редактор «Нового мира» Полонский восторженно прочитал новые рассказы Бабеля, но отверг их, ссылаясь на «попутническую репутацию» писателя, опасную прежде всего для него самого. Воронский, прочитав некоторые новые произведения Бабеля, признал их «контрреволюционными», а значит, непечатными.

Когда в 1932 году физик А. Вейсберг, навестив Бабеля в Москве, спросил писателя: «Почему вы больше не пишете?» — Бабель ответил: «Кто вам сказал, что я не пишу?» — и показал на полке десяток переплетенных томов. Но это были рукописи. Бабель сделал

ироническое замечание о возможной судьбе этих текстов, если бы он предложил издательству. Размышляя о причинах и мотивах писательского затворничества, весьма расположенный к нему критик Полонский записал в своем дневнике, опубликованном лишь недавно:

«Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют и он не пострадает, если напечатает их позже».

Однако была и другая причина, гораздо более важная, о чем и пишет далее Полонский: написанные Бабелем «вещи» непечатны.

«...Ибо материал их таков, что опубликовать его сейчас вряд ли возможно. Бабель работал не только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся “Конармия” такова. А все, что у него есть теперь,— это, вероятно, про Чека. Он и в Конармию пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать сейчас боится. Репутация у него попутническая».

Еще одна тема, занимавшая Бабеля в это время (1931) — сплошная коллективизация. Под впечатлением бабелевского рассказа о деревне Полонский записывает:

«Читал рассказ о деревне. Просто, коротко, сжато — сильно. Деревня его, так же как и Конармия,— кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал. Мужики, сельсоветчики и кулаки, кретины, уроды, дегенераты. Читал и еще один рассказ о расстреле — страшной силы. С такой простотой, с таким холодным спокойствием, как будто лушит подсолнухи, — показал, как расстреливают. Реализм потрясающий, при этом лаконичен до крайности и остро образен. Он доводит осязаемость образа до полной иллюзии. И все это простейшими (как будто) средствами».

Если в 1931 году публиковать все эти бабелевские сюжеты — о ЧК, расстрелах, раскулачивании — было страшно и опасно, то каково было в 1937, 1938!.. А Бабель ходил буквально по острию ножа: общался с видными чекистами прошлого и настоящего, был вхож в дом «железного наркома» Ежова, одного из главных организаторов и исполнителей Большого террора, дружил с его женой. Писатель приблизился вплотную к трудной, неразрешимой проблеме: почему революция исключает гуманизм; почему построение социализма невозможно без жестокости, перманентного насилия, без массового террора; почему советская власть, руководствующаяся, казалось бы, высокими, благородными идеалами равенства, справедливости, свободы, лишена человеческого лица, а вместе с ним — человеческой доброты, чуткости, душевности к отдельному человеку.

Несомненно: Бабель в 30-е годы (как и в 20-е) стоял на пороге понимания фундаментальных общественно-исторических процессов эпохи — формирования тоталитарного государства как огромной репрессивно-карательной, централизованной машины, которая исключала человеческую личность и опиралась на политическую идеологию, замешанную на классовой ненависти, подозрительности, беспощадности к находимым повсюду врагам и схоластической демагогии. Обе стороны сталинского социализма — репрессивно-карательная и демагогическая — были в равной степени отвратительны Бабелю. На своем авторском вечере в сентябре 1937 года Бабель неосторожно сострил: «Как только слово начинается на “изм”, я перестаю его понимать, хотя бы оно было самое простое». Его бдительные слушатели немедленно отреагировали на безответственную, безыдейную позицию писателя: «А социализм?» — спросили из зала (слов таких можно было назвать сколько угодно: ленинизм, коммунизм, оптимизм, коллективизм, героизм и т. д.). Бабелю пришлось отшучиваться: «Это я понимаю, это единственное, можно сделать оговорку».

Многие удивлялись болезненному интересу Бабеля к органам государственной безопасности. Кто-то думал, что Бабель ходит к Ежову из трусости, как бы стремясь предот-

вратить возможный арест; кто-то считал, что из любопытства. Н.Я. Мандельштам вспоминала разговор, произошедший между О. Мандельштамом и Бабелем:

«О.М. спросил, почему Бабеля тянет к «милиционерам» (прозрачный эвфемизм для обозначения чекистов). Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? “Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?”»

Впрочем, и так было ясно, что в «распределителе смерти» пахнет трупами и кровью.

С 1934 года за Бабелем шла слежка ОГПУ — НКВД. Осведомители советской охраны постоянно сообщали о своем «подопечном». Так, в ноябре 1934 Бабель сказал окружающим его лицам:

«Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев и интеллигенции к мысли оказаться за решеткой. Все это — характерная черта государственного режима. Надо, чтобы несколько человек исторического масштаба были во главе страны. Впрочем, где их взять, никого уже нет...»

О процессе правотроцкистского блока Бабель говорил:

«Чудовищный процесс. Он чудовищен страшной ограниченностью, принижением всех проблем. <...> Они умрут, убежденные в гибели представляемого ими течения и вместе с тем гибели коммунистической революции, — ведь Троцкий убедил их в том, что победа Сталина означает гибель революции...»

И тут же заявил:

«Советская власть держится только идеологией».

В феврале 1939 Бабель высказался относительно «посредственности нынешнего руководства» ВКП(б) и государства, что представители оппозиции, деятели культуры, захлестнутые волной все новых и новых репрессий, «отмечены печатью таланта и на много голов возвышаются над окружающей посредственностью», за что, собственно, они и осуждены: «арестовать — расстрелять!..»

Допрашиваемые на Лубянке в мае 1939 года свидетели один за другим показывали:

«Бабель — человек троцкистских взглядов... Высказывал свое несогласие с линией партии...»

«Особенно негодовал Бабель на политику партии в литературе: “Печатают всякую дрянь, а меня, Бабеля, не печатают...”»

По словам Е.С. Ежовой (незадолго перед арестом наркома Ежова не то покончившей с собой, не то убитой по заданию руководства), «необходимость ареста Бабеля» предрешена его близостью к различным «троцкистам», «его может спасти только европейская известность...». Передавали высказывания Бабеля, подтверждавшие его несовместимость с диктатурой партии:

«Писатель должен писать искренне, а то, что у него есть искреннее, то напечатано быть не может, оно несозвучно с линией партии».

Бабель признавался, что «чувствует, что надо хоть что-нибудь опубликовать, что его молчание становится открытым антисоветским выступлением...» Бабелю приписывалась «подлая тихая сапа» — «путь для нападения в виде анекдотов, клеветы, слуха, сплетен в соответствии с правилами борьбы». Бабель был обречен и сам понимал это, предупреждая своих друзей и знакомых, что «самое опасное» — это общение с ним.

В 5 часов утра 15 мая 1939 года на московскую квартиру Бабеля явился отряд из шести оперуполномоченных с ордером на «арест-обыск № 3003 от 16.V.39», подписанным новым наркомом НКВД Берия. При обыске на московской квартире было изъято «разных рукописей — 15 (пятнадцать) папок», «записных книжек — 11 шт.», «блокнотов с записями — 7 шт.», «разных писем — 400 шт.», «разная переписка — 254 л.» и т. п.; при аресте

писателя на даче в Переделкино — в дополнение к перечисленному — изъято: «рукопись разная — 9 папок», «записные книжки с записью — 3 шт.» и др. Все эти результаты многолетней творческой деятельности И. Бабеля бесследно исчезли в анналах НКВД — МГБ — КГБ... Тщетно обращался писатель к всемогущему Берия с просьбой разрешить ему привести в порядок отобранные у него рукописи:

«Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария...»

Среди упомянутых 24 папок с «разной рукописью», по-видимому, находился и большой роман о чекистах, о котором свидетельствуют многие мемуаристы, начиная с Д. Фурманова. Известный киносценарист А. Каплер рассказывал в 1974 году, что «вскоре после смерти Сталина на каком-то литературном собрании Фадеев вспомнил отзыв “хозяина” о бабелевском романе. Книга, мол, хорошая, однако издать сейчас (то есть в 1936–1938 годах) нельзя, разве что лет через десять»; тогда же возникла неподтвержденная информация, что по указанию Сталина в это время (конец 30-х годов) роман был отпечатан в количестве 50 экземпляров — для членов Политбюро и верхушки НКВД. Возможно, после ареста Бабеля все его рукописи подлежали «уничтожению». Но не исключено, однако, что они до сих пор хранятся в каких-нибудь «совершенно секретных» архивах, недоступных исследователям.

Сам Бабель — по законам той системы, в которую он из писательской любознательности вступил, также подлежал уничтожению. Он слишком много знал об этой системе, притом изнутри. Притом такого, что ее не просто дискредитировало, но разоблачало, неопровержимо доказывало ее преступность, бесчеловечность. После трех дней непрерывного допроса — 29–30–31 мая — И. Бабель, не признававший себя виновным ни в чем, «вдруг» все признал. В его показаниях говорится, что он «продолжительное время был связан с троцкистами, находился под их политическим влиянием», что он «разделял троцкистскую позицию Воронского творить вопреки массе, допускал клеветнические обобщения положения в стране и выпады против существующего руководства». Бабель соглашался с тем, что «постоянное общение с троцкистами» «оказало влияние на его творчество». В «Конармии» он описал все жестокости и несообразности гражданской войны. Подчеркнуто изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно пронизанного пролетарским сознанием, регулярной и внушительной единицы Красной Армии, которой являлась тогда Первая Конная. «“Одесские рассказы” — отход от советской действительности». Бабель признался в том, что «вел антисоветские разговоры среди писателей, артистов, режиссеров... Называлась длинная вереница имен единомышленников Бабеля: Вс. Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина, С. Есенин, С. Клычков, В. Казин, Л. Леонов, Э. Багрицкий, Ю. Олеша, В. Катаев, Г. Александров, С. Эйзенштейн, С. Михоэлс, И. Эренбург... Среди деятелей культуры, находившихся в эмиграции, с которыми встречался и поддерживал отношения Бабель, упоминались литераторы А. Ремизов, М. Цветаева, режиссер А. Грановский, художник Ю. Анненков и др. Особо интересовались иностранцами, с которыми встречался и общался Бабель, — французский писатель Андре Мальро, французский социал-демократ Борис Суварин, представитель австрийской фирмы в СССР Бруно Штейнер... Следователям было мало признать Бабеля «активным участником анти-советской организации среди писателей», — его хотели обвинить в шпионаже, вредительстве...

В обвинительном заключении по следственному делу № 419 И.Э. Бабель обвинялся в том, что

- «1. Являлся активным участником контрреволюционной троцкистской организации.
2. Вел шпионскую работу в пользу французской и австрийской разведок.

3. Готовил теракты против руководителей партии и правительства».

Но абсурдность обвинения уже не занимала Бабеля. Он простился со своей жизнью. Его занимало теперь только одно: «мною в показаниях оклеветан ряд ни в чем не повинных людей»; «в показаниях моих содержатся неправильные и вымышленные утверждения приписывающие антисоветскую деятельность лицам, честно и самоотверженно работающим для блага СССР». 5 ноября, 21 ноября, 2 января, 25 января Бабель пишет в Прокуратуру СССР, в Военную коллегия Верховного суда письма, в которых отказывается от своих прежних показаний и просит произвести дополнительное расследование, допросить свидетелей по своему «делу», выслушать его заявление.

«Мысль о том, что слова мои не только не помогают следствию но могут принести моей родине прямой вред, доставляет мне невыразимые страдания. Я считаю первым своим делом снять со своей совести ужасное это пятно».

Однако все это уже никого, кроме «арестованного Бабеля И.Э., бывшего члена ССП» (так подписывал свои заявления узник Лубянки, а затем Бутырок), не занимало. С вынесением Бабелю смертного приговора тянули более 8 месяцев только потому, что собирались на основании вымышленных у него показаний устроить грандиозный процесс о писателях — шпионах, диверсантах и террористах (а также других деятелях искусства и культуры). То ли что-то не «склеилось» в свидетельских показаниях, то ли «кровавый театр» с массовыми митингами и казнями под занавес уже надоел Сталину и его подручным, — одним словом, было приказано «кончать».

26 января 1940 года «тройка» Военной коллегии во главе с ее бессменным председателем армвоенюристом Ульрихом заслушала «дело» обвиняемого Бабеля. В течение 20 минут зачитали обвинение. Произнес свое последнее слово Бабель:

«Я не виновен. Шпионом не был. Никогда ни одного действия не допускал против Советского Союза. В своих показаниях возвел на себя клевету. Себя и других оговорил по принуждению...»

Все эти слова произносились в пустоту. Расстрел писателя был предрешиен.

«Приговор приведен в исполнение 27 января 1940 года в Москве. Сведений о месте захоронения не имеется».

Недаром писателя Бабеля так занимал и волновал «смертельный» и кровавый материал жизни: он надеялся, что «псы и свиньи человечества», ничем не брезгающие ради завоевания и сохранения власти, не восторжествуют над теми, кто ищет «робкой звезды», что Интернационал «злых людей» не одержит все-таки верх над людьми добрыми и беззащитными, исповедующими «укрытое от мира Евангелие». Жизнь не подтвердила надежд писателя-гуманиста, но навсегда оправдала его гуманизм и неприятие насилия в любых его формах — революционных и контрреволюционных.

В случае Бабеля противостояние власти и художника, не приобретая внешне конфликтных и конфронтационных форм, напротив, сохраняя видимость тайны, взаимного «умолчания», достигло крайнего выражения и поставило писателя (как это нередко бывало и раньше, (потом) на грань жизни и смерти. Писателю не забыли ничего. Его главная книга «Конармия» представляла такую же опасность для режима, как и его неопубликованные рукописи о Чека, о коллективизации на Украине, о «военном коммунизме», о жизни творческой интеллигенции, — как и он сам. И режим уничтожил Бабеля вместе с его неопубликованными сочинениями. Но его репутация «неудобного» писателя и свидетеля своей эпохи сохранялась и после его воскрешения в советской литературе в годы хрущевской «оттепели».

Когда имя и книги Бабеля были реабилитированы, авторы появившихся критических статей и книг стремились во что бы то ни стало доказать, что путь Бабеля — в преодолении «интеллигентщины», в приятии революции, в слиянии с Красной Армией и ее боевым духом, что Бабель — честный и преданный советский писатель, верой и правдой

служивший советской власти... Но чем больше они старались, тем очевиднее становилось, почему требуется так много усилий и слов, чтобы доказать недоказуемое.

Подобно своему любимому Лютову (новелла «Вечер»), Бабель мог сказать:

«Я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...»